

fronts et te repliait aussi bien dans le secret, qui te faisait tant parler et autant te taire.

Tu avais compris que le besoin de l'époque est de nouveau, comme pour Hegel, dans le souci de ce qui reste lorsque "une forme de la vie achève de vieillir" : il reste "la vie" soustraite à ses formes, il reste un dépouillement, un vide par lequel on passe à une autre forme. Pas à un " futur " déjà représenté, mais à un "à venir" dont l'essence est de venir, non d'être représentable et calculable. Cet incalculable, ce défi au calcul et à la maîtrise, ce défi – au fond – à toi-même et à ta propre puissance aura été ton ressort le plus vif. Tu as désiré être altéré – emporté, enlevé, aliéné – non à distance de ton être propre, mais en lui au plus propre de lui : comble d'appropriation et de dissémination conjointes. Ta puissance ne vient pas d'ailleurs : de cette prodigieuse volonté de saisir ensemble l'insensé et la vérité, le reste et l'à-venir, dans un acte de sens toujours unique et

toujours renouvelé. Une folie, oui, Jacques, on peut le dire et tu

ne refuses pas qu'on le dise. Une belle folie, comme l'a

toujours été depuis Platon le "beau risque" de la

philosophie. La folie de la raison, rien de

plus, rien de moins. De la raison qui

exige l'incondition-né: chacun

comme s'il était le monde et

pace qu'il est le monde.

Je ne peux que te

dire: reste,

viens.

Жан-Люк Нанси

*Останься, приходи **

Как трудно писать, когда воцаряется тишина. И все-таки нужно, нужно писать – не надеясь послать привет. Но, Жак, сегодня я не могу писать иначе, как обращаясь к тебе. Вернувшись из Парижа, после встречи с тобой, я задумал было каждый день писать по паре слов, чтобы уйти от ограниченности и томительности для тебя телефонного общения. И вот – вот единственное возможное письмо. Но я не могу не делать вида, будто, несмотря ни на что, я на самом деле могу писать тебе. Я не способен повернуться к «публике». Нужно говорить о тебе – но обращаться к тебе. Как будто...

Ты любил это «как будто», идущее от Канта, ты и сам его охотно подхватывал, но видел в нем не какой-нибудь иллюзионистский трюк, а безоговорочное утверждение присутствия невозможного и безусловного. Как будто он – абсолют – был налицо, и он действительно есть. Так и ты есть, ты безусловно и абсолютно есть тот, кто ты есть, – вовеки. И это ничего общего не имеет с религиозным воскрешением (мы об этом говорили, ты еще шутил: «в конечном счете, я бы предпочел настоящее, классическое воскрешение!»). Но это напрямую связано, во-первых, с этим се-

* Напечатано в «Le Monde», 12 октября 2004.– прим. ред.

годняшним присутствием – твоим, еще не выброшенным на берег памяти, – и, во-вторых, – с абсолютным, исключительным, неизгладимым характером каждого, каждой жизни.

Как ты писал, смерть каждого – «всякий раз, единственный и неповторимый, – это конец света». Иначе говоря, всякий раз весь мир без остатка присутствует в каждом, *как* каждый. Всегда всякий раз возникая ниоткуда и пропадая в никуда, оторванный от постоянства и тождества, отброшенный в затмение и инаковость. Ты больше не ты сам, ты даже больше не «ты» – к этому «даже больше» я и обращаюсь, – и вот так ты нам дан, нам оставлен – и ты всеми оставлен.

Но все заняты другим тобой – твоей знаменитой тенью. Всюду твердят, что ты философ «деконструкции». Но к чему сводится эта пресловутая и почти всегда превратно понимаемая «деконструкция»? Это работа с тем, что остается после демонтажа систем обозначения (метафизик, гуманизмов, мировоззрений). Не ты изобрел этот демонтаж, ты сам напоминал, что он рождается одновременно с философией: сама философия выстраивает и демонтирует конструкции смысла. А остаток – это то, чему невозможно ни назначить, ни вменить никакого данного смысла. Это истина единственного, истина каждого как другого, что никогда не сводится к тому же самому, что не дает себя отождествить, что уклоняется и ускользает. Как ты сам только что сделал. Как ты предпочитал делать всю жизнь – с упорством, с недоверчивостью.

Демонтировать конструкции смысла ты хотел не для того, чтобы разрушить, а чтобы разомкнуть, дизассемблировать и тем самым высвободить этот остаток: бесконечный избыток конечного существования, абсолют единичного (в котором нет ничего солипсистского).

Вот что остается от тебя, вот что остается тобой. Ты появился с этим сорок лет назад. И сразу дал обозначение этому остатку и этой избыточности. Заимствовав у Хайдеггера «вне-себя-бытие», у Гуссерля и Мерло-Понти – силу знака за пределами смысла: «письмо». Еще в 1963-м ты утверждал: «Смысл ни прежде, ни после действия», и как раз силу, порыв, неистовство этого вечно возобновляемого действия ты хотел сделать своими.

И вот что нас тогда захватило, столь многих, – это нетерпеливое, гордое, раздраженное, эксцессивное желание, которое заставляло тебя не пугаться крайностей и прожигать мысль, как жизнь. Именно эта щедрость, одновременно бьющая через край и беспокойная, сказала и в твоих чтениях, и в твоих дружбах, это она бросала тебя по всем фронтам и в то же время таинственно замыкала в себе, это она заставляла тебя о стольком говорить и о стольком умалчивать.

Ты понял, что нужда эпохи – снова, как и для Гегеля, забота о том, что остается, когда «некая форма жизни становится старой»: остается «жизнь», оторванная от своих форм, остается обкраденность, пустота, через которую переходят к какой-то другой форме. Не к «будущему», уже представленному, но к «грядущему», чья сущность – в том, что оно грядет, приходит, а не в том, что оно представимо и исчислимо. И это неисчислимое, этот вызов расчету и покорению, этот вызов, по сути, тебе самому и твоей собственной силе – вот что было твоей пружиной, твоим самым живым местом. Ты жаждал инаковости – хотел восторгаться, восхищаться, отчуждаться от самого себя, – но не на дистанции от своего подлинного бытия, а в нем самом, в самой его подлинности: апогей апроприации, неотделимой от рассеяния. Твоя сила – как раз отсюда: от этой удивительной воли схватывать разом бессмыслицу и истину, остаток и грядущее, схватывать всегда уникальным и вечно обновляемым осмыслением. Безумие, конечно, Жак, так тоже можно сказать, и ты не возражаешь, чтобы так говорили. Прекрасное безумье –

разве не этим был со времен Платона «прекрасный риск» философии? Безумье разума, не больше и не меньше. Разума, который требует безусловного: пусть каждый будет, словно он мир и потому что он мир. Что же еще сказать? Останься, приди.